

М.Ю.Г.

КРИПКА

Не буду останавливаться на правомерности претензий Мережковского ко всем писателям — скажу только, что к имени Лермонтова мы можем с полным основанием присоединить имя Цветаевой — «мятежницы лбом и чревом», ни перед кем и ни перед чем не склонявшей головы. Главная черта ее личности — мужество:

*Не возьмешь моего румянца,
Сильного, как разливы рек!
Ты охотник, но я не дамсь,
Ты погоня, но я емь без.*

«Жизни». 1924

А ее благодарность Творцу, после неисчислимых бед, не за что-нибудь иное — за радость напряженного труда:

*Обидел и обошел?
Спасибо за то, что — стол
Дал, стойкий, врагам на страх —
Стол — на четырех ногах*

*Упорства. Скорей — скалу
Своротил! И лоб — к столу
Подстатный, и локоть под —
Чтоб лоб свой держать, как свод.*

«Стол» (4). 1933

Она была не только мужественна сама — она вкачивала мужество, «как насосом», и в других.

*Не умрешь, народ!
Бог тебя хранит!
Сердцем дал — гранат,
Грудью дал — гранит.*

*Процветай, народ, —
Твердый, как скрижаль,
Жаркий, как гранат,
Чистый, как хрусталь,*

— обращается она к чешскому народу в трагическом для него мае 1939 года.

Цветаева никогда не призывала к смирению, а художника, творца считала искони фрондёром, так как его долг — быть выразителем высшей справедливости, бороться с торжествующей властью за человека. Творец, гений, по ее глубочайшему убеждению, — всегда защитник слабого перед сильным, побежденного перед победителем («упал — значит прав»), бедного перед богатым, неимущего перед имущим. В послереволюционной же Москве, где торжествовали не имущие (уточню: неимущие скорее духовно, чем материально), она встала на сторону бывших имущих. Писала романтические драмы об аристократах рода и духа («Червонный валет», «Метель», «Фортуна»...), создала цикл стихов «Лебединый стан» — свой плач Ярославны по русским воинам, по добровольческим отрядам белой гвардии, о которых сама же обреченно сказала: «Добровольчество — это добрая воля к смерти». Раз так, то вроде бы ее помощь-мольба бесполезна? Но она все равно продолжала защищать «упавших» — если не перед властями, пререждавшими, то перед Небом, перед Историей.

И при всех трагических поворотах в судьбе Родины, мира, в личной судьбе Цветаевой мужество ее оставалось светлым: не было в нем зубового скрежета, мученичества, упоения страданиями, невзгодами. От невзгод она холодно отстранялась — уходила в творчество, в общение с природой и с людьми, чье существование не исчерпывается повседневно-

ностью. Поэтические вечера во «Дворце Искусств» и Политехническом музее; создание «маленьких драм» для актеров студии Вахтангова и встречи с этими актерами — увлеченными своим делом, светящимися романтикой чувств и творческих замыслов; дружба с вдовой А. Н. Скрябина, влюбленность-преклонение перед князем С. М. Волконским... — все это делало для нее несущественными бытовую неустроенность, голод и холод (хотя и не могло придать жизни иную, не трагическую тональность).

КОГДА человек не видит ничего, кроме грязи и мук, когда только об этом он способен говорить и писать, тогда-то и можно сказать, что зло одержало над ним победу: оно надломило его душу, согнуло его позвоночник, лишило жажды радости. Цветаева в годы разлуки пишет не о разлуке, а о красивых, сильных людях, об их возвышенных чувствах; она, поэт, словно пронзает окружающий мрак острым алмазным лучом — не для того, чтобы осве-

комство с книгой Даниила Андреева «Ро-за Мира»). Она не могла не возвращаться мыслью к юности своего поколения, склонного к безответственности и эпатажу, к забвению того, что интеллигенция — это мозг и совесть нации, занятого больше психологическими играми, чем судьбой многострадальной Родины. Цветаева и в предреволюционные годы от психологических игр отказывалась («Зачем тебе, зачем Моя душа спартанского ребенка?»), а теперь, в 20-е годы, вместе со страной пережив самое страшное время, предчувствовала, что трагедия ее поколения еще не закончена, еще только разворачивается. Потому ее и тянуло проследить весь жизненный путь Тезея, даже выйдя за пределы мифа о нем, создавая свой миф — о Тезее и Елене. Полный крах чудился ей в конце его судьбы, начатой предательством, спасением от гнева богов себя, а не любимой.

Самое высокое мужество Цветаева признавала за человеком, который при всех испытаниях сохраняет в себе лучшие черты; остается щедрым, несмотря на вечно стоящую у порога нищету; не становится

«МЯТЕЖНИЦА

О Марине

тить тьму, а для того, чтобы, миновав ее, уйти в светлую даль.

Спасительной светлой далью в конце 10-х — начале 20-х годов стали для Цветаевой история, воспринимаемая сквозь магический кристалл романтики, и мифология. Повседневные беды не заглушали для нее космическую музыку Вселенной, не сбивали с восприятия земного бытия в целом: она не позволяла себе застревать мыслью в тине мелочей, за суетой быта стремилась расслышать поступь Истории. Ей хотелось найти тот корень, из которого произросли сегодняшние трагические события; ее глубоко занимал вопрос, как и какие струи внешне хаотичной, складывающейся из случайностей жизни находят путь к соединению друг с другом, превращаясь в неостановимый поток трагедии. Передать это через реальную повседневность не представлялось возможным — и Цветаева обратилась к античной трагедии, считая, что ход земного бытия в любую эпоху определяется одними и теми же вселенскими законами. Ее занимает история афинского царевича, а затем и царя Тезея, на судьбе которого можно проследить постепенное соединение в общий поток всех струй трагедии.

Цветаева создавала свою трилогию о судьбе Тезея — «Гнев Афродиты» (замысел последней ее части не был осуществлен), уже в эмиграции, соединившись с мужем, — но она еще не забыла о недавнем собственном одиночестве — когда ее Тезей (Сергей Эфрон) уступил любимую богине войны Марсу. Как всякий гениальный художник, она умела сопрягать великие и малые события, видеть за историей земной, «горизонтальной», метафизическую историю — в вертикальном ее измерении, включающем три мира, три слоя Вселенной: высший, средний и низший («непосвященным» предлагаю начать зна-

холоум, даже имея над собой десять начальников один чванливее другого; сохраняет воспитанность, хорошие манеры, нормальную речь, хотя многие вокруг перешли на язык людей дна, люмпенов, урок. И самое главное — остается доброжелательным, отзывчивым на чужое горе. Не исповедуя смирения перед злом, она тем не менее никогда злом на зло не отвечала (достаточно проследить развитие их отношений с Маяковским) — от зла лишь холодно отстранялась. Такой способ нейтрализации зла предлагала Елена Ивановна Рерих: «Больные вибрации лечатся холодом». Цветаева следовала этому принципу в жизни, на мой взгляд, интуитивно, но неуклонно. Вступать в ссору, навязываемую «бесами», недостойно Человека — такова ее позиция.

Ей удалось выстоять. Не выжить (этого не удалось!), а выстоять, что для человека куда важнее. До конца жизни оставалась она даращей, помогающей, протягивающей слабую руку для поддержки:

*Обнимаю тебя кругозором
Гор, гранитной короной скал.
(Занимаю тебя разговором —
Чтобы легче дышал, крепче спал.)*

*Всей Савойей и всем Пьемонтом,
И — немножко хребет надлома —
Обнимаю тебя горизонтом
Голубым — и руками думя!*

«Стихи сироте» (2). Август 1936

ДМИТРИЙ Мережковский, сказавший в свое время много несправедливого о русской истории и русской литературе, тем не менее заслужил право на внимание к своим статьям и книгам, ибо и справедливого тоже сказал немало. Вот что писал он об умении противостоять злу (цитирую его статью 1909 года «Поэт сверхчеловечества»):

«Смирению учила нас русская природа — холод и голод — русская история: византийские монахи и татарские ханы, московские цари и петербургские императоры. Смирал нас Петр, смирал Бирон, смирал Аракчеев, смирал Николай; ныне смиряют карательные экспедиции и ежедневные смертные казни. Смиряет вся русская литература.

Если кто-нибудь из русских писателей начинал бунтовать, то разве только для того, чтобы тотчас же покаяться и еще глубже смириться. Забунтовал Пушкин, написал оду Вольности и смирился — написал оду Николаю I. благословил казнь своих друзей, декабристов:

*В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.*

Забунтовал Гоголь — написал первую часть «Мертвых душ» и смирился — сжег вторую, благословил крепостное право. Забунтовал Достоевский, пошел на торгу и вернулся проповедником смирения. Забунтовал Л. Толстой, начал с анархической синицы, собиравшейся море зажечь, и смирился — кончил противопоставлением злу, проклятием русской революции.

Где же, где, наконец, в России тот «гордый человек», которому надо смириться? Хочется иногда ответить на этот вечный призыв к смирению: докуда же еще смиряться?

И вот один-единственный человек в русской литературе, до конца не смирившийся, — Лермонтов.

Потому ли, что не успел смириться? — Едва ли.

Источник лермонтовского бунта не эмпирический, а метафизический. Если бы продолжить этот бунт в бесконечность, он, может быть, привел бы к иному, более глубокому, истинному смирению. Но, во всяком случае, не к тому, которого требовал Достоевский и которое смешивает свободу сынов Божьих с человеческим рабством».

Цветаева М.



М. ЦВЕТАЕВА.
Портрет работы М. НАХМАН

вспомним и то, что сама Марина — благодаря наследству, оставленному обоим дочерям матерью, — была до революции если и не богатой, то хорошо обеспеченной; ее вклад в банке присвоили себе, попросту своровали, представители новой власти — и для народа ли?).

Вместе с тем не было у Цветаевой презрения к «простонародью», к духовно обездоленным людям. Она в каждом старалась разглядеть Человека.

Сама она была Человеком с большой буквы во всем.

Величайшая преданность и вместе с тем полное отсутствие навязывания себя характеризуют ее отношения с близкими, любимыми. Рассказы современников о ее увлечениях и всяческие позднейшие интерпретации грешат домыслами, которые не подтверждаются при знакомстве с «первоисточниками» — письмами, дневниковыми записями, с самим ходом жизненных событий.

Марина Ивановна всю жизнь недооценивала себя как женщину; вот строки из ее письма к Пастернаку от 10 июля 1926 г.:

А дело-то было не в ней: все ее «влюбленные» либо погибли в гражданской войне (если еще и не в первой мировой), либо мыкались по белу свету, занятые, как и она, только одним: выстоять. Какие уж там палаты для любимой!

И вот, навьючив на верблюжий горб,
На добрый — стопудовую заботу,
Отправимся — верблюд смирен
и горд —
Справлять неисправимую работу.

Под темной тяжестью
ее влюбленных тел —
Мечтать о Ниле, радоваться луже,
Как господин и как Господь велел —
Нести свой крест по-Божьи,
по-верблюжьи...

— такой стала ее жизнь и жизнь всех тех, кого революция и гражданская война расшвыряли по стране и миру. Еще надо

И грустно мне еще, что этот вечер,
Сегодняшний — так долго шла я вслед
Садящемуся солнцу, — и навстречу
Тебе — через сто лет.

«Тебе — через сто лет». 1919

Постоянная трагическая нота в стихах Цветаевой о любви вызвана даже и не столько недооценкой себя как «хозяйки дома», «Евы», сколько пониманием высшего трагизма человеческих чувств — их конечности. Так же конечна и потому трагична сама жизнь. Обороняясь от этой трагичности, Цветаева писала:

Пришла и знала одно: вокзал.
Раскладываться не стоит.

«Поезд». 1923

Оборонялась она и от трагичности любви — заранее отстраняясь, уступая, отдавая. Для обычного сознания это несомненно с горячностью вначале ее отношений с любимыми, и многие воспринимают такой поворот как следствие безнадежности ее чувства, не нашедшего достойного отклика. Нет, это не так. Безнадежность заранее запрограммировалась ею самой. (Думаю, ее отношения с Рильке закончились бы так же, как и с Пастернаком; вернее, не закончились бы, а тоже перешли бы в долгую и верную дружбу.) Преданность Марине Пастернак перенес и на ее дочь: ни от кого не получала она столь щедрой и постоянной помощи, как от него, хотя и самому Борису Леонидовичу жилось, как мы знаем, отнюдь не припеваючи.

Интерпретаторы (мемуаристы, исследователи, потомки бывших знакомых и т. д.) нередко закрывают своими «позднейшими записями» подлинник, как закрывают иконописцы новых времен подлинный лик иконы. И потому нам, любящим Цветаеву, Лермонтова, Блока, многих и многих гениев нашей земли, надо бы больше читать «подлинники», а не «позднейшие записи», — больше интересоваться книгами самих творцов, чем книгами о них. Читать самого гения не только интереснее, но даже и экономнее: гений не бывает болтливым, многословным; гений может ошибаться в деталях, повествуя о событиях и людях своей эпохи, но он всегда правдив в главном, да и занят гений не собой, а Истиной; его «запись» — всегда подлинник, от которого не придется со временем избавляться.

Между тем мы давно уже увлечены скорее исследованиями о Пушкине, чем самим Пушкиным, и тот же перекося угрожает нам в знакомстве с Цветаевой: книг о ней становится, пожалуй, больше, чем ее книг, а разговоры о перипетиях ее биографии — больше, чем внимания к ее творчеству. Давайте читать саму Цветаеву — ее стихи и поэмы, ее романтические драмы и трагедии на античные темы, ее воспоминания о современниках, об отце и матери, о своем детстве... Цветаева сейчас вдвойне нужна нам: мы неожиданно оказались в социальной и психологической атмосфере, весьма схожей с той, что царил в период расцвета и зрелости ее таланта. И мы можем опереться на ее мужественное плечо в желании выстоять, достойно пройти сужденные нам испытания, не отрывая навсегда взгляд от неба. Солнца и звезды, сохраняя в себе способность к поэтической влюбленности в людей, в природу, в воздух Родины и Земли.

Лидия БЕЛОВА

ЛБОМ И ЧРЕВОМ»

ЦВЕТАЕВОЙ ~ сегодня

Человек демократических убеждений, не превратилась она в сторонницу «правых» и после революции, хотя за границей от дружбы с «правыми» зависела возможность выхода к относительно широкому кругу читателей. Вместе с тем никогда внутренне не отталкивала от себя людей просто из-за их принадлежности к высшему сословию. Аристократическое же благородство, неотрывное от ответственности за судьбу Родины, народа, вызывало у нее чувство высокой поэтической влюбленности. Вспомним цикл ее стихов 1921 года «Ученик», посвященный уже упоминавшемуся мною князю Волконскому (1860—1937); внук декабриста, он стал горьким свидетелем разлома страны, предвиденного его предками — противниками режима единовластия, то есть режима потенциального подавления прав и свобод любой личности, кроме особы монарха. По свидетельству замечательного писателя-философа, друга Лермонтова, князя Владимира Федоровича Одоевского, в декабристском движении «участвовали представители всего талантливого, образованного, знатного, благородного, блестящего в России» (к сожалению, сейчас и об этом приходится напоминать, настолько разгулялось в нашей стране племя «свистунов»). То есть знатность отнюдь не политический термин, и Цветаева прекрасно это понимала. Неправда, кстати, что ее «Хвала богатым» — на самом деле не хвала, а хула. Цветаева открыто, хотя и не без иронии, говорит именно о любви к богатым (вспомним, что богатые эмигранты, ценившие талантливых, но обездоленных своих соотечественников, порой помогали им;

«[...] У меня другая улица, Борис, любящая, почти что река, Борис, без людей, с концами концов, с детством, со всеми, кроме мужчин. Я на них никогда не смотрю, я их просто не вижу. Я им не нравлюсь, у них нюх. Я не нравлюсь полу. Пусть в твоих глазах я теряю: мною не заворачивались, в меня почти не влюблялись. Ни одного выстрела в лоб — оцени. [Отзвук тех нравов, что царили вокруг Цветаевой в предреволюционные годы, когда баловство с пистолетом было модой: мы видим это и по мемуарам тех времен; и по роману Пастернака «Доктор Живаго». — Л. Б.]

Стреляться из-за Психеи! Да ведь ее никогда не было (особая форма бесмертия). Стреляются из-за хозяйки дома, не из-за гостей. Не сомневаюсь, что в старческих воспоминаниях моих молодых друзей я буду — первая. Что до мужского настоящего — я в нем никогда не числилась».

И это она пишет в то именно время, когда в нее влюблены и Пастернак, и Рильке, о чем прямо и косвенно говорят в каждом своем письме. Она предпочитает — не верить, не обольщаться. Напоминает себе, что у нее ничего нет: ни роскошного дома, в котором она могла бы быть очаровательной хозяйкой (и была ведь — на заре туманной юности!), ни бриллиантов, мехов, платьев со шлейфом... И ей кажется: во что же тут влюбляться? в голую душу?

Ко мне не резнуто жены:

Я — голос и взгляд.

И мне ни один влюбленный

Не вывел палат.

«Мой путь не лежит мимо дому...». 1920

удивляться, откуда брались у них силы на влюбленность, на поэтическое вдохновение, на такие вот письма, как у Цветаевой и Пастернака...

КАК же грешны перед Цветаевой ее современники и позднейшие исследователи ее биографии и творчества, добавляющие к собственной ее недооценке себя свою лепту: изображая ее вечно в кого-то безнадежно влюбленной, страдающей, несчастной из-за неразделенной любви! Не было этого. Были — всегдашняя готовность уйти, подарить своего любимого другой, особенно когда роман начинал угрожать семье (как было с К. Б. Родзевичем, предлагавшим ей руку и сердце). Она обычно сама создавала свои потери, первой отстраняясь, начиная заглушать свое и чужое чувство теоретическими рассуждениями. Наверное, была она не права, если иметь в виду ее человеческую судьбу. Но если иметь в виду женское достоинство, честь, гордость, то ее поведение — высочайший образец для прекрасной половины нашей молодежи. Главным своим долгом она считала долг перед семьей. А оценку себя как женщины откладывала на далекое будущее:

Со мной в руке — почти что
горстка пыли —
Мои стихи! — я вижу: на ветру
Ты ищешь дом, где родилась я — или
В котором я умру.

О, сто моих колец! Мне тянет жилы,
Раскаиваясь в первый раз,
Что столько я их вкривь и вкось
дарила —

Тебя не дождалась!

95